

Боль и слезы

Легко ли в наше время издать книгу? В поисках ответа не приходится долго рыскать. Если есть деньги - запросто, тут же. Если же карман не топорщится от купюр и если сочинитель не умеет их выпрашивать у владельцев «заводов, газет, пароходов», то завал его рукописей растет, погребая под собой новые замыслы. Оба варианта сосуществуют в наши необыкновенные дни.

Так или иначе, у известного ангарского поэта Иннокентия Новокрещенных кое-что поднакопилось в письменном столе. Мне довелось познакомиться с рукописью из папки под названием «Lacrymosa». Так хочется, чтобы с этим познакомились и другие читатели! Сразу скажем, что поэт тут перешел на прозу. И жанр обозначил: научно-художественное повествование. И подзаголовок дал: «Печальные размышления книгочея». Сразу чувствуется, что книга своеобразная. Так оно и есть. Но погружение в эти страницы вызывает и трепет, и боль, и сострадание лирическому герою, от лица которого ведется повествование.

О чем это? Генрих Гейне хорошо знал то, о чем поведал: «Трещина мира проходит через сердце поэта». Хотя поэт перешел на прозу, но трещина тут как тут. Тревог, известно, в нашем беспокойном мире много, и автор откликается на них, окровавливаясь, пуская в расход свое сердце. Можно, пожалуй, употребить такое сильное слово.

Поэт привлек к себе в союзники не только прозу, но и еще одну могучую стихию искусства - музыку. Он слушает «Реквием» Моцарта, и возникающие перед ним картины, воспоминания, прожитое и воображаемое переносит на бумагу. Ассоциации поданы в художественном беспорядке (какой здесь может быть порядок?!), в причудливом переплетении, в аритмической структуре. Здесь есть и мощная лирическая струя, возникают один и другой портреты женщины, исчезнувшей, ушедшей в даль. Есть аварии и приключения, забытье и возрождение. Рассуждения и соображения. Есть множество лиц исторических, мифологических, литературных... Порой повествование выходит на горячую публицистическую стезю, полную больно задевающих реалий нашего сегодняшнего дня. А в «часы пик», когда тревоги совсем уж подступают к горлу, поэт хватается за рифмы и, бросая на миг прозу, переходит в родную стихотворную стихию. Не забудем, что все это на фоне Моцарта.

В меня врезалась фраза автора, которая, думается, выходит за рамки контекста, и уж ее-то жаждется обязательно привести: «Удача в жизни - это уж слишком». Кто-то и поспорит, но это неважно - поэт сказал,

прислушаемся.

Фрагмент, который может уместиться на газетной полосе, не в силах передать весь смысл и дух разноречивого сочинения, но это все же лучше, чем ничего.

Л. Беспрозванный.
Время. - 2009. – 3 сентября. – С.18.

Глава из рукописи
Иннокентий Новокрещенных
«Lacrymosa»

Но как там ни было, будущее неизбежно. Неотвратимо!

Futurum

... И все, кто входит сегодня в жизнь, - дети научно-технического прогресса, дети неизбежности.

«Хеви-металл». Синтезаторы. Компьютеры...

Но главное: мы – поколение физически сломленных людей, страдающих от нервного истощения.

И вот футурошок. Все ли наши беды, катаклизмы и катастрофический рост преступности списать на это надвигающееся на нас, неведомое доселе психическое состояние?

И вновь – туннель. Эффект подземного перехода из светлого полдня в этот футурошок. Скорее нас просто втолкнули, чтобы мы перешли в эту черную дыру из удачливых в сверхбогатые, из незадачливых – в нищие.

Футурошок... Все тот же песок в глазах, в виде ножей, кастетов, автоматов и совершенно таинственных взрывов. Таинственных, ибо милиция бессильна: мол, от газовой установки. Это взлетевшие два (или три) подъезда пятиэтажного дома. От газовой установки?

И тем не менее, что это? Смертная казнь в логове, где делятся кровавые капиталы? Казнят одного, а уходят из жизни десятки других, не имеющих к этому логову никакого отношения.

Ровно сутки назад... Заканчивая трудиться на улице, я не думал ни о крови, ни о смертных казнях. Напротив, я думал о свободе, которую мы провозглашаем то благодаря одной победе, то благодаря другой; думал обо всех известных и неизвестных мне ипостасях самой свободы, не говоря уже о позитивности и негативности того, что вкладывается в это понятие.

Да, да! Сутки назад!.. Горели еще фонари, и рассвет только начинался. А я в мыслях своих находился перед картиной замечательного романтика Делакруа «Свобода на баррикадах». В центре полотна художник поместил прелестнейшую женщину – Свободу! – с самым изысканнейшим обнаженным торсом.

«И всё же взглядишь...» - как бы настаивает художник. И я вглядываюсь в нечто прекрасное и мужественное одновременно. С поднятым Знаменем – в одной руке и с ружьем – в другой, она, устремленная, открыто смотрит вперед...

И, о боже! Через какое скопище трупов идет это ангельское создание!

Так увидел свободу художник за сто семьдесят лет до апофеоза нашей перестройки. Да, он представлял ее прекрасной богиней. Богиней – на костях всего живого. Работа как бы выходила из русла творчества Делакруа и была принята далеко не всеми. После выставки художник уезжает в путешествие по Африке, а возвращаясь, можно сказать, отрекается от того, что он пытался воспеть. По крайней мере, следующую революцию (1848 года) он игнорировал полностью.

А мы, в наши минувшие годы, рассматривая картину или репродукцию, любовались этой Свободой, женственно шагающей нам навстречу. Мы как бы и не замечали гору трупов. Да и как же иначе? Ведь свободу надо завоевать.

... На отдаленной остановке в полупустой трамвай шумно вваливается подвыпивший молодчик:

- Ну ты, сука, чо лыбишься? По глазам вижу, что ты сука.

Девушка, к которой подсел хулиган, переходит на другое место. Но пьяный – за ней:

- Нет, ты постой...

Пожилая женщина пытается урезонить молодчика.

- А ты, бабуся, посиди! Это тебя, старая хрычовка, не касается.

Все остальные (их немного) молчат. А хулиган распоясывается...

Но вот в трамвае более многолюдно. Находятся мужчины, способные противостоять дебоширу. Но тут же находятся и только вошедшие сердобольные:

- Безобразия! Трое на одного!..

- Вот именно. Подумаешь, чуть выпил мальчишка.

- Милицию позвать!..

И милиция не всегда, но очень часто забирает не преступника, а пострадавшего или заступающегося.

Понятно. Сердобольность – не главная причина. Странно даже не то, что все идет по схеме, замеченной когда-то Гоголем: поставив над чиновником двух ревизоров, мы находим среди самих себя уже не одного вора, а трех. Страшнее другое. Наступил некий бум. Это то, что мы называем сегодня мафией, коррупцией.

И – огромные денежные средства, сосредоточенные у преступника. Именно у преступника, ибо честным путем за полтора-два года стать обладателем головокружительных капиталов невозможно.

Вместе с тем преступник становится организованным, чтобы быть вершителем во всех сферах власти. В конце концов проясняется, что при дикой демократии движущей силой правосудия становится не справедливость, а деньги.

Уже сейчас преступник неподсуден: он отстреливается и уходит. А если вооруженная банда оказывается все же в наручниках – через пару дней она на свободе. После единого росчерка пера: «... За недостаточностью улик». Смертельный риск сотрудников оперативной группы не в счет.

«За недостаточностью улик»...

Да и какие улики?...

В государстве мы давным-давно разворовали почти все, что могли. А у самих себя мы растащили по блокам, по обломкам камней и кирпичиков весь наш фундамент – нравственность, - без которого мы ничто. И теперь при многократном усилении надзора за порядком получаем лишь усиление режима власти: бандитский террор – самосуд на улице и дома – будет лишь перенесен в застенки и введен в ранг закона. Атмосфера вооруженного насилия, погромов, дальнейшего разграбления и захвата власти дает зарвавшимся молодчикам возможность ощутить силу. Все может войти к нам так, как вошли, к примеру, тридцатые годы в Германии.

- Сила, она и в Африке сила, - любят сегодня все повторять наши обладатели «пушек», вершители рэкета.

А мы вновь, как в былые десятилетия, будем прислушиваться ночами, и замирать при гулких звуках шагов там, за дверью, на лестнице...

«Не за мной ли?»...

Фактор невинности в этом случае значения не имеет.

И я вновь эти мгновения и эти тревоги за будущее воспринимаю как былое...

«... Они не могли поставить ему в вину ничего, кроме «стилистической отделки» каких-то прокламаций, не им даже написанных. Его убили ради наслаждения убийством вообще, еще – ради удовольствия убить поэта, еще «для острастки» в порядке чистого террора...» - это Владислав Ходасевич о

Николае Гумилеве. Имелась в виду официальная версия обвинения. Теперь-то мы знаем, что вина – «стилистическая обработка» - сфабрикована.

Это начало острастки – двадцать первый год. Но до Гумилева уже был казнен Александр Блок.

И если Гумилева на отдаленной железнодорожной станции вместе с другими, живыми, полуживыми и мертвыми, забросали землей в той яме, которую вырыли сами же арестованные, то Блока просто не отпустили на лечение, обрекая его на медленную, но верную гибель рядом с книгами и своими черновиками. Да и как иначе? Как сфабриковать дело на Блока – кто поверит? На поэта, воспевшего октябрьский переворот блистательной поэмой «Двенадцать»?

... В белом венчике из роз –

Впереди Иисус Христос.

Вот именно – Христос.

Блок при этом смотрел туда, что мы понимаем под «еще раньше», - в ту далекую точку отсчета «святая святых» - в истоки христианства, а вместе с тем и нашего православия. Он видел мессию, соединившего землю с небом и добровольно ушедшего на казнь – на Голгофу.

Смертная казнь – извечно гневное лицо острастки! Отменить? А кто и как тогда будет убирать неугодных: недоступных и честнейших людей, светил, возвышающихся над нами?

Нет, общество, способное винить невиновных, не способно лишиться своей главной привилегии – смертной казни.

А привилегия дома сумасшедших – никого не судить за убийство.